

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА. ЧАСТЬ 1

Старая записная книжка

Петр Вяземский

Старая записная книжка. Часть 1

«Public Domain»

1825

Вяземский П. А.

Старая записная книжка. Часть 1 / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1825 — (Старая записная книжка)

«Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова...»

Содержание

Музыка и живопись	12
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Петр Вяземский

Старая записная книжка. Часть 1

Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего: кто идет? Единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю.

* * *

– Не понимаю, – сказала недавно Селимена, с которой разговаривали о петербургских актерах, игравших на Московском театре, – как здешняя публика могла осыпать рукоплесканиями А...?

– Что же находите в этом удивительного? – отвечал ей Оргон, – всякий готов ласкать и обезьяну любимой женщины. Известно, что А... – муж славной Филисы.

* * *

Один остроумный мизантроп, пишет Шанфор, рассуждая о развращении людей, сказал: Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого.

* * *

– Видели ли вы французского короля? – спросил однажды Фридрих у д'Аламбера.

– Видел, ваше величество, – отвечал философ.

– Что же он вам сказал?

– Он со мной не говорил.

– С кем же он говорит? – спросил король с досадой.

* * *

Н. смертный сын бессмертной Клио, то есть историк, и, надобно прибавить, русский историк, находился однажды в обществе, в котором рассуждали о Вольтере; всякий своим образом хвалил сего великого писателя.

Н. спорил со всеми, наконец сказал: согласен, государи мои: Вольтер писал изрядно; верьте однако, что я никогда не простил бы себе, если бы мог усомниться, что напишу что-нибудь хуже него.

Что же написал г. N? Бредни о русской истории. Вероятно, что книга Иоанна Масона о познании самого себя была ему неизвестна.

* * *

Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином – и для того самым странным образом угощает гостей своих.

Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: примечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут даме, – и тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать собой пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, и тотчас сам роняет стол; потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал все общество стукотней, и говорит ему: видите ли, что со мной случилась еще большая беда?

Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчерашний вечер, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но, видя, что я не встаю, садился и вставал по крайней мере двадцать раз, и все понапрасну.

И я нынче услышал от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: он добрый малый, но, сказать между нами, уж слишком скромн и стыдлив.

* * *

Иные любят книги, но не любят авторов – неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.

* * *

Панкратий Сумароков, удачный подражатель Богдановича в карикатурных изображениях, коренной принадлежности русского ума. Где француз улыбнется, русский захохочет. Французская эпиграмма хороша, когда задевает стрелой. Русская, когда хватит дубиной или ударит топором. Французские глаза любят цвета нежные, но с красотью переливающиеся; русские радуются краскам хотя и грубым, но ярким. Посмотрите на наши комедии: тут уму нечего догадываться, зрителю дополнять. Все не в бровь, а в самый глаз; все так глаза и колет; все высказано, выпечатано и перепечатано. То же можно сказать и о комическом духе немцев, англичан, испанцев, с той только разницею, что у нас один истинный комик, Фон-Визин, и то в одной комедии, а у тех существует театр народный.

Покойный Жолковский, лучший комический актер Варшавского театра, на обвинение, делаемое ему, что он иногда слишком плотно шутит, отвечал: «Вы живописцы образованные, не знаете ремесла театральных маляров; я зрителей своих знаю. Мои декорации, слишком грубо писанные для вас, глядящих на них вблизи или сквозь искусственное стекло, издали только что в пору для них». Многие из читателей наших также читают издали. Излишние утонченности ускользают от них. Они не любят бледной, воздушной красоты ни в телесном, ни в духовном: давай им красоту дородную, кровь с молоком.

* * *

Я уверен, что злые поклонники солнца радуются пасмурному дню. При таком свидетеле и судьбе мудрено пуститься на худое дело. Солнце для них то же, что деревянные головы, вставленные в потолок в Краковском судилище, которые, как рассказывает предание, взывали к царю: «Будь справедлив!» Хорошо и каждому из нас завести бы у себя хотя по одной такой голове. «На то есть совесть», скажете вы. Конечно, тем более что у многих она одеревенела не хуже деревянной башки.

* * *

Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет. Шаховский, когда хочет вас укусить, только что замуслит.

* * *

Слова – условленные знаки мыслей. Иные имеют в глазах наших цену существенную, весовую и утвержденную временем и употреблением; другие вводятся в язык насильственно, и цена их условная. Государство не имеет довольно звонкой монеты; оно прибегает к ассигнациям. Язык не имеет довольно коренных слов; он прибегает к словам составным или относительным. Для монет есть монетный двор, для слов есть Академия; но она не выбивает новых слов, а только свидетельствует и клеймит старые. Академия – пробная палатка, но рудники – писатели.

Когда годится ассигнация? Тогда, как пустившие ее в ход за нее отвечают и силой, или доверенностью, или другими средствами убеждают других почитать ее тем, чем он ее выдает. Или возьмем в пример марки клубные, или городских касс, употребляемые в иных клубах и городах: вне общества, вне города они не имеют никакой цены, но в известном круге эти марки почитаются настоящими представительными знаками денег и наравне с ними в ходу. Отчего же бы по этому примеру нельзя новому поколению дополнить неимущество своего языка условленными звуками, преобразовавшимися в слова, долженствующие также, в свою очередь, образовать глазам и ушам понятия, еще не имеющие выражения на языке?

В финансовых производствах скудость в представительных знаках, в соразмерности с потребностью, вознаграждается удвоением, утроением знаменования представителя: то есть рубль делается рублями, и так далее. В языке этого делать нельзя, или по крайней мере не должно. Слово, имеющее два, три значения, не годится ни на одно значение. Как же помочь? Иностранных слов брать не велят: от сего займа терпит народная спесь. Заметим, однако же, мимоходом, что голландские червонцы у нас в ходу: кажется, было бы и слово чистого золота, то брезговать не к чему. Хуже отказываться от выражения понятий нам сродных потому только, что они не приходили в голову нашим предкам и чужды были их веку.

Как этимологи ни мучься над родословием слов – но все многие слова – звуки, выраженные наудачу, подкидыши на распутий ума человеческого, которые после того сделались приемышами, а там уже усыновлены и узаконены порядком. Зачем же нам оставаться бездетными? Мы боимся подставочным поколением оскорбить наследственные права старших братьев, которые, если разбирать строго, может быть, окажутся еще их беззаконнее. В дипломатике употребляют же цифры произвольные, не заботясь о том, что никакая грамматика, никакой Словарь Академический не дали знакам этим права гражданства. Дело в том, чтобы понимать друг друга.

Какое же вывести заключение из всего сказанного? То, чтобы в случае недостатка слов для выражения понятий, для наименования вещей, нам равно необходимых, равно свойственных, решились бы хотя на каком-нибудь съезде писателей выбить из известных слов и звуков новые слова и без околичностей внести их в общий словарь русского языка.

Признаюсь, выведенное заключение несколько напугать может и не робкую душу самого отчаянного неолога! Но как же помочь в беде? Впрочем, обращаюсь к своему эпиграфу и укрываюсь в его засаде: «Кидаю мысли свои на бумагу, и справляйся они, как умеют».

* * *

Я нашел у старика Сумарокова прекрасное слово: *зablужденники*, которое тщетно после того искал и в Словаре Академическом, и в других писателях. Подобные прилагательно-существительные – совершенная находка: у нас в них недостаток, а они выразительны и полновесны.

* * *

«Витийство лишнее природе злейший враг», сказал в ответ на оду Майкова тот же Сумароков, у коего вырывались иногда стихи не красивые, но правильные и полные смысла, а особенно в сатирах. Вот примеры:

Пред низкими людьми свирепствуй ты как черт,
Простой народ и чтит того, кто горд.

(*Наставление сыну.*)

Мой предок дворянин, а я неблагороден.

(*О благородстве.*)

Но чем уверят нас о прабабках своих,
Что не было утех сторонних и у них.
«Сторонних утех» забавное и счастливое выражение.
Один рассказывал: другой заметил тож:
Все мелет мельница: но что молола? Ложь.

(*О злословии.*)

Если издатели *Образцовых Сочинений* с умыслом переменили стих Сумарокова о невеждах, в сатире: *Пишта и его друг*:

Их тесто никогда в сатире не закиснет,

на:

Их место никогда в сатире не закиснет,

то двойною виной провинились они: против истины и поэзии. Выражение Сумарокова не щеголевато, но забавно и точно. *Место* не закиснет не имеет никакого смысла. Иногда же он в сатирах своих просто ругается; иногда, по нынешнему, либеральничает и крепко нападает на злоупотребления крепостного владения, например:

Ах! Должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль, может бык людей быку продать?

* * *

«Тело врага умершего всегда хорошо пахнет», сказал Вителлий и повторил Карл IX. Случалось ли вам радоваться падению соперника, лакомиться чтением дурного сочинения неприятеля вашего, заслушиваться рассказа подробного о непохвальном поступке человека, который сидит у вас на шее и на сердце? Случалось ли? Верно: да! Случалось ли в том признаваться? Верно: нет! Итак, не гнушайтесь вчуже чувством Вителлия и Карла, а только дивитесь их нескромному признанию.

* * *

Веревкин, сочинитель комедий: *Так и должно* и *Точь-в-точь*, которая, как говорят, осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их присутствии. Переводчик *Корана*, издатель многих книг, напечатанных без имени, а только с подписью деревни его: Михалево, сделался известным императрице Елизавете следующим образом. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая ей очень понравилась, изъявила она желание, чтобы перевели ее на русский язык. «Есть у меня человек на примете, – сказал Шувалов, – который изготовит вам перевод до конца обеда», – и тут же послал молитву к Веревкину.

Так и сделано. За обедом принесли перевод. Он так полюбился императрице, что тотчас же или вскоре затем наградила она переводчика 20 000 рублей. Вот что можно назвать успешной молитвой.

Веревкин любил гадать в карты. Кто-то донес Петру III о мастерстве его: послали за ним. Взяв в руки колоду карт, выбросил он искусно на пол четыре короля. «Что это значит?» – спросил государь.

«Так фальшивые короли падают перед истинным царем», – отвечал он. Шутка показалась удачной, а гадания его произвели сильное впечатление на ум государя. И на картах ему посчастливилось: вслед за этим отпустили ему долг казенный в 40 000 рублей.

Император сказал о волшебном мастерстве Веревкина императрице Екатерине и пожелал, чтобы она призвала его к себе. Явился он с колодой карт в руке.

«Я слышала, что вы человек умный, – сказала императрица, – неужели вы веруете в подобные нелепости?»

«Нимало», – отвечал Веревкин.

«Я очень рада, – прибавила императрица, – и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса».

Он был великий краснбай и рассказчик, много жила в деревне, но когда приезжал в Петербург, то с шести часов утра прихожая его наполнялась присланными с приглашениями на обед или вечер: хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечеринку или на обед, говорят, спрашивал у товарищей своих: «Как хотите: заставить ли мне сегодня, слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.

Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в парижских гостиных по приготовленным темам.

Веревкин когда-то написал шутку на Суворова, в которой осмеивал странные причуды его. Суворов знал о ней. Веревкин был в военной службе, а после – действительным статским советником; был в дружеской связи с Фон-Визином и уважаем Державиным, который был учеником в Казанской гимназии, когда Веревкин был ее директором. «Помнишь ли, как ты назвал меня болваном и тупицей?» – говаривал потом бывшему начальнику своему тупой ученик,

переродившийся в статс-секретаря и первого поэта своей нации. (Рассказано мне родственником его, генералом Веревкиным, который после был комендантом в Москве.)

* * *

Напрасно Шлегель говорит в своей драматургии: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прадона единственно тем, что умеет писать, то жестоко был к себе несправедлив».

Конечно, должно дополнить это мнение, но помнить притом, что Расин сказал это во Франции: слог у французов первая необходимость; у немцев, уже по другой крайности, он часто последнее условие. В искусствах нельзя не ценить отделки: немцы же все ценят на вес. Поэтому и суждения Шлегеля о французском театре часто ошибочны и пристрастны: он судил о нем, и вообще немцы судят о французской литературе не как знатоки или охотники, но как заимодавцы под вещи. Французы выше всего ставят ясность и щегольство слога; Корнель на театре их почти забыт. Грубый стих, дикое выражение в глазах их грех неискупимый и переживает, то есть хоронит, целую поэму.

Ломьер, автор поэм и трагедий, в которых есть точно существенное достоинство, известен у них частой стычкой несладкозвучных согласных, шероховатостью и проч. Нет француза, который не знал бы этих стихов его:

Crois – tu tel forfait Manco-Capac d'capable?
И Opera sur roulette et qu'on porte a dos d'homme.

И никто уже не заглядывает в его творения, оглашенные подобными стихами. Уши немцев уживчивее. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда не должно позволять себе излагать о ней судейские приговоры. В рассмотрении тяжбы подсудимого должно держаться уложения, которому он подлежит, а нельзя со своими законами идти на управу в чужую землю.

* * *

Если не признавать цены отделки, вкуса, свойственного такому-то народу и такому-то веку, как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем уважении уже не говорю: оно суеверие и присвоено нами по преданию. Переводить сухой прозой Анакреона – то же, что переложить на русские слова каламбуры маркиза Биевра; а Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё.

* * *

В той же комнате Английской гостиницы варшавской, в коей Наполеон после бедственного русского похода давал свою достопамятную аудиенцию Прадту и некоторым полякам, был положен, спустя несколько месяцев, труп Моро, во время перевоза бранных останков его в Петербург. У судьбы много таких драматических выходов.

* * *

Одно из любимых чтений Кострова было роман *Вертер*. Когда он бывал навеселе, заставлял себе читать его и заливался слезами. Однажды в подобном положении, после чтения про-

диктовал он любовное письмо, во вкусе *Вертера*, к прежней своей возлюбленной. Жаль, что не сохранился сей любопытный памятник переводчика *Илиады*.

Костров не любил стихов Петрова: за чашею или после чаши всегда слушал их с удовольствием. Он был истинный чудак, и знавшие его коротко рассказывают о нем много забавных странностей. Бывало, входит он в комнату приятелей своих в шляпе трехугольной, снимет для поклона и снова наденет на глаза, сядет в угол и молчит. Только когда услышит от разговаривающих речь любопытную или забавную, то приподнимет шляпу, взглянет на говоруна и опять ее насунет.

Он так был нравами непорочен, что в доме Шувалова отведена была ему комната возле девичьей. Однажды входит к нему Дмитриев и застаёт его на креслах перед столом, на коем лежит греческий Гомер, в пергаменте, возле Кострова горничная девушка, а он сшивает разные лоскутки. «Что это вы делаете, Ермил Иванович?» – «А вот девчата понадовали мне лоскутья, так сшиваю их, чтобы не пропали». Добродушие его было пленительное.

Его вывели на сцену в одной комедии, кажется, ныне покоящейся на обширном кладбище нашего *Российского Феатра*, и он любил заставлять при себе читать явления, в коих представлен он был в смешном виде. «Ах! Он пострел, – говаривал он об авторе, – да я в нем и не подозревал такого ума. Как он славно потрафил меня!»

Карамзин встретился с ним в книжной лавке, за несколько дней до кончины его. Он был измучен лихорадкой. «Что это с вами сделалось?» – спросил его Карамзин. «Да вот какая беда, – отвечал он, – всегда употреблял горячее, а умираю от холодного».

Он сказывал о себе, что он сын дьячка, но на первой оде его напечатанной выставлено, что сочинена крестьянином казенной волости. (Все сказанное о Кострове слышано от И. И. Дмитриева.)

* * *

Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа. Вовенарг сказал: мысли высокие истекают из сердца. Можно прибавить: и приемлются сердцем. Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум.

* * *

Женщины господствуют в жизни силой слабостей своих и наших. Они напоминают извятие, представляющее Амура, который обуздал льва. Он царь; но дитя сел ему на шею.

* * *

О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.

* * *

Музыка и живопись

Музыка – искусство независимое, живопись – подражательное и, следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы видели или могли видеть. Первая только по условию покорила определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка без нот, без инструментов. В живописи все вещественно: отнимите кисть, карандаш, и она не существует. Живое в ней – оптический обман. Истинное в ней – краски, кисти, холст, бумага – мертвое. В музыке обман то, что в ней есть мертвое. Ноты – цифры ее, соображение строев, созвучий, математика их, все это условное, безжизненное. Живое в ней почти не осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после сделалась она творением. Музыка творение первобытное, и только из угождения прихотям, или недостаткам человеческого сошла она в искусство. Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные перебивы соловья, изгибы человеческого голоса, вот музыка довременная всем инструментам.

Живопись – наука; музыка – способность. Искусство говорить наука благоприобретенная; но дар слова – родовое достояние человека. Не будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопределенные, сбивчивые, но все более или менее понятные для употребляющих; не будь нот, генерал-баса, а все была бы музыка.

Музыка – чувство; живопись – понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий родилось чувство. Господствующее сродство музыки с нами: ее переходчивость. Мы симпатизируем с тем, что так же минутно, так же неутвердимо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу – и нет его, наслаждение обогрело наше сердце – и нет его.

В живописи видны уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность. В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она выливается в восклицание, или стон. Ей нет потребности передать свои чувства другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка.

Есть солнце гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет их гармонической теплотой. Часто слышишь, что живопись предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, удобнее, чтобы провести или, как говорится, убивать время, следовательно, прибыльнее для сбывающих с рук его излишество. Тут идет дело о пользе, а я о наслаждении и думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости. Горе музыканту или поэту, принимающемуся за песни от скуки. Оставим это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения; разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему рассеяние. Без сомнения, музыкант и поэт, если живо поражены, не станут также считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее.

Однако же и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто спускаем взоры с подлинной картины природы и задумчиво заглядываемся на повторение ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками привлекательности. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства; но по тайной склонности любит в несовершенствах. Неотразимо чувствуя в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить сказанное мною о живописи к поэзии, в сравнении с музыкой, признавая, однако же, в поэзии много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка одна и нераздельна (*une et indivisible*), как покойная Французская республика.

В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия воображения, поэзия нравоучения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице – поэзии природы, поэзии вечной. Есть же поэзия без стихов: на стихи без поэзии указывать нечего. В условленном выражении поэзии есть слишком много примеси прозаической. Поэзия – ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и все изображает; ничего не выговаривает и все выражает; ни за что не отвечает и на все отвечает. Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный, облагороженный выговором. Музыка – язык отдельный, цельный. Их можно применить к письменам демотическим (народным) и гиератическим (священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка – усовершенствованные, возвышенные иероглифы: в них все мирские же знаки изображали человеческие понятия. В музыке знаки бестелесные возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство чего-то положительного; в музыке все неизъяснимо, все безответственно, как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни делай, а таинственность, неопределимость – вот вернейшая прелесть всех наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда житейское, мирское уже слишком нам постыло.

Мы ищем нового мира, и вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы, серафимы, в горних пределах, не живописуют силы Божией, а воспевают ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок, вот как я распределил бы их: 1-я – Музыка, 2-я – Поэзия, 3-е – Ваяние, 4-я – Живопись, 5-е – Зодчество.

* * *

Что за страсть, если она страдание? Недаром на языке христианском имеют они одно значение. Должно пить любовь из источника бурного; в чистом и тихом она становится усыпительным напитком сердца. Счастье – тот же сон.

Откровенная женщина говаривала: люблю старшего своего племянника за то, что он умен; меньшего, хотя он и глуп, за то, что он мой племянник. Так любим мы свои способности и неспособности, духовные силы и немощи, добрые качества и пороки. Порок, каков он ни есть, все же наш племянник.

* * *

Опытность – не дочь времени, как говорится ложно, но событий.

* * *

Ривароль говорил о союзниках в продолжение революционной войны: они всегда отстают одной мыслью, одним годом и одной армией.

* * *

Мне всегда забавно видеть, как издатели и биографы сатириков ограждают божбами совесть их от подозрений в злости и стараются задобрить читателей в пользу своих литературных клиентов. Не все ли равно распинаться за хирурга в том, что он не кровожадный истязатель и душегубец; но сатирик – оператор, срезывающий наросты и впускающий щуп в заразные раны.

К тому же не часто ли видим, что писатель на бумаге совершенно другой человек изустно. Забавный комик на сцене может в домашнем быту смотреть сентябрем, а трагик быть весельчаком. Ум – вольный козак и не всегда покоряется дисциплине души и нрава. Душа всегда та же; ум разнообразен, как оборотень. Дидерот говорит: «Зачем искать автора в лицах, им выводимых? Что общего в Расине с *Гофалией*, в Мольере с *Тартюфом!*»

* * *

Лучшая эпиграмма на Хераскова отпущена Державиным без умысла в оде *Ключ*:

Священный Гребеневский ключ!
Певца бессмертной Россияды
Поил водой ты стихотворства.

Вода стихотворства, говоря о поэзии Хераскова, выражение удивительно верное и забавное!

* * *

Чтобы твердо выучиться людям, не подслушивать, а подмечать их надобно. Одни новички проговариваются, но и у самых мастеров сердце нередко пробивается на лице, или в выражениях.

Зашедши в гости, граф Растопчин забыл золотую табакерку в сюртуке; спохватившись, выходит он в переднюю и вынимает ее из кармана. Заметя это, один из лакеев поморщился и сделал губами безмолвное движение, которое выпечатало невольное признание: ах, если бы я это знал!

* * *

Филипп писал Аристотелю: не столько за рождение сына благодарю богов, сколько за то, что он родился в твое время.

Многие классики не столько радуются творению своему, сколько тому, что оно создано по образу и подобию Аристотеля. Один врач говорил про своего умершего пациента: он не выздоровел, но, по крайней мере, умер при всех условиях и предписаниях науки.

* * *

И овцы целы и волки сыты, было в первый раз сказано лукавым волком, или подлой овцой, или нерадивым пастухом. Счастливо то стадо, вокруг коего волки околевают с голода.

* * *

Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: я читал эту книгу! Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день заброшена в вазу, а если имя твое в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, ноне видать человека; остается заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги, не все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитает много шляпочных связей. Лишнее знакомство вредит

истинной приязни, похищает время у дружбы; лишнее чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а иногда и выживает пользу действительную.

Теперь много занимаются составлением изданий сжатых (editions compacts); но эта экономия относится только до сбережения бумаги; хорошо, если нашли бы способ сжимать понятия и сведения (впрочем, без прижимки) и таким образом сберечь время чтения, которое дороже бумаги. Как досаден гость не в пору, которому отказать нельзя; как досадно появление книги, которую непременно должно прочесть сырую со станка, когда внимание ваше углубилось в чтение залежавшейся или отвлечено занятием, не имеющим никакой связи с нею.

* * *

По новым усовершенствованиям типографической промышленности во Франции семьдесят томов Вольтера сжаты в один том. Что будет с нами, если сей способ стеснения дойдет до нас? Вообразите себе на месте дородного и высокорослого Вольтера иного словесника нашего или ученого известного, известнейшего, почтенного, почтеннейшего, достопочтенного, по техническим титулам отличия в табели о рангах авторов, употребляемым в языке журнальном, газетном и книжном. Того и смотри, что вдавят его в пять или шесть страниц.

* * *

Ломоносов сказал: *мокрый амур*. Многие из элегий и любовных песен наших писаны под его водяным влиянием. На бумагу авторов сыпались не искры с пламенника амура, а дождевые капли с крыльев его. Мокрый амур, мокрая крыса, мокрая курица (poule mouillée) все это идет одно к другому.

* * *

Никому не весело быть в дураках, а особливо же дураку. По-настоящему, одни умные люди могут попадаться впросак; другие от природы получили тут оседлость. Видим примеры, что дураки попадают в умные люди; как тупое копьё, брошенное чужой силой, они попадают в цель на мгновение, но не имея в себе ни цепкости, ни остроконечности, они своим весом падают стремглав. Подумаешь, что именно для этих людей выдуманно выражение: подымать на смех.

Смотря на современный литературный мир в Европе, может быть, признаешься, что в нем нет богатырей, которые являлись прежде на сцене; но читатели нынешние рассудительнее и многочисленнее прежних. И в таком случае все еще есть перевес на стороне нашего века. Живописна картина нескольких ветвистых исполинов, уединенно разбросанных по обширной равнине; расчетливый же хозяин дорожит более рощею равной, но дружно посаженной деревьями сочными и матерыми.

* * *

Херасков где-то говорит: «Коль можно малу вещь великой уподобить»; и очень можно. В уподоблениях именно приличнее восходить, чем спускаться; но Поэт сказал однако же о луне: «Ядро казалось раскаленно», и на ту минуту был живописцем.

* * *

Херасков чудесное, смелое рассказывает всегда, как дети рассказывают свои сны с оговоркой *будто*:

И будто трубный глас восстал в пещерах мрачных,
И будто возгремел без молний гром в дали,
И будто бурная свирепствуя вода,
От солнечных лучей, как будто от огня.

Будто это поэзия!

* * *

Многих из стихотворцев с пером в руке можно представить себе в виде старухи за чулком: она дремлет, а пальцы ее сами собою движутся и чулок между тем вяжется. Зато на скольких поэтических ногах видим чулки со спущенными петлями!

* * *

Лафонтен, как полагают иные, создал слово басенник, который плодоносит баснями как яблоня – яблоками – *fablier, qui porte des fables, comme un pommier des pommes*. Основываясь на этом словопроизводстве, можно сказать о Хемницере или Крылове: он *басення*, от слова яблоня, а об ином: он баснина, от слова осина. Читая притчи же другого, как не подумать, что они держатся старинного, простонародного значения *притчи*, ошибки, несчастного случая. Без притчи века не изживешь, говорит пословица; а каково же, когда придется весь свой век изжить на притчах? Не в добрый час ему попритчилось, сказал я по прочтении собрания известных притчей.

* * *

В ночь на Иванов день исстари зажигались на высотах кругом Ревеля огни, бочки со смолой, огромные костры; все жители толпами пускались на ночное пилигримство, собирались, ходили вокруг огней, и сие празднество, в виду живописного Ревеля, в виду зеркала моря, отражающего прибрежное сияние, должно было иметь нечто поэтическое и торжественное. Ныне разве кое-где блещут сиротливые огни, зажигаемые малым числом поклонников старины. Это жаль. Везде падают народные обычаи, предания и поверия.

Народы как будто стыдятся держаться привычек детства, достигнув совершеннолетия. Хорошо иным; но зачем отставать от поэзии бабушкиных сказок другим, все-таки еще чуждым прозы просвещения? Право, многим поребячиться еще не грешно. Мы со своей степенностью и нагой рассудительностью смешны, как дети, которые важничают в маскарадах, навьюченные париком с буклями, французским кафтаном и шпагой. Крайности смежны. Истинное, коренное просвещение возвращает умы к некоторым дедовским обычаям. Старость падает в ребячество, говорит пословица; так и с народами; но только они заимствуют из своего ребячества то, что было в нем поэтического. Это не малодушие, а набожная благодарность. Старик с умиленным чувством, с нежным благоговением смотрит на дерево, на которое он лазил в младенчестве, на луг, на котором он резвился. В возрасте мужества, в возрасте какого-то благоразум-

ного хладнокровия, он смотрел на них глазами сухими и в сердце безмолвном не отвечал на голос старины, который подавали ему ее красноречивые свидетели. Старость ясная лебединая песнь жизни, совершенной во благо, имеет много созвучия с юностью изящной; поэзия одной сливается с поэзией другой, как вечерняя заря с молодым рассветом. Возраст зрелости есть душный, сухой полдень; благотворный, ибо в нем сосредотачивается зиждательное действие солнца, но менее богатый оттенками, более однообразный, вовсе не поэтический.

Литературы, сии выражения веков и народов, подтверждают наблюдение. Литература, обошедши круг общих мыслей, занятий, истин, выданных нам счетом, кидается в источники первобытных вдохновений. Смотрите на литературу английскую, германскую: Шекспир, утро; Поп, полдень; Вальтер Скотт, вечер.

* * *

«Когда я начинал учиться английскому языку, – говорил Вольтер о Шекспире, – я не понимал, как мог народ столь просвещенный уважать автора столь сумасбродного; но, познакомившись короче с английским языком, я уверился, что англичане правы, что невозможно целой нации ошибаться в чувстве своем и не знать, чему радуется (et a tort d'avoir du plaisir)».

Ум Вольтера был удивительно светел, когда не находили на него облака предубеждения или пристрастия. В словах, здесь приведенных, есть явное опровержение шуток и объяснений, устремленных тем же Вольтером на *пьяного дикаря*. Будь Шекспир пьяный дикарь, то дикарями должны быть и просвещенные англичане, которые поклоняются ему, как кумиру их народной славы. Дело в том, что должно глубоко вникнуть в нравы и в дух чуждого народа, совершенно покумиться с ним и отречься от всех своих народных поверий, мнений и узаконений, готовясь приступить к суждению о литературе чуждой. Шекспиристы, говоря о трагедиях Расина: «И французы называют это трагедией?» – похожи на французских солдат, которые, не окрещенные при рождении своем русским морозом и незваные гости на Руси, восклицали в 1812 году, страдая от голода и холода: «И несчастные называют это отечеством! (et les malheureux appellent cela une patrie!)»

* * *

Слава хороша, как средство, как деньги, потому что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто любит славу единственно для славы, так же безумен, как скупец, который любит деньги для денег. Бескорыстие славолубивого и скупого – противоречия. Счастлив, кто, жертвуя славе, думает не о себе, а хочет озарить ею могилу отца и колыбель сына.

* * *

Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят.

* * *

Сумароков единствен и удивительно мил в своем самохвальстве; мало того, что он выставлял для сравнения свои и Ломоносова строфы, и, отдадим справедливость его праводушию, лучшие строфы Ломоносова.

Он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке *О путешествиях* вызывается он за 12 000 рублей, сверх его жалованья, объездить

Европу и выдать свое путешествие, которое, по мнению его, заплатит казне с излишком; ибо, считая, что продается его шесть тысяч экземпляров, по три рубля каждый, составит 18 000 рублей; и продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, ежели бы она и триста тысяч рублей на это безвозвратно употребила».

Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и при всем неряшестве своем некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные в глазах строгого суда.

В общежитии был он, сказывают, так же жив и заносчив, как и в литературной полемике; часто не мог он, назло себе, удержаться от насмешки и часто крупными и резкими выходками наживал себе неприятелей.

Он имел тяжёлое дело, которое поручил ходатайству какого-то г-на Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «С истинным почтением имею честь быть не вам покорный слуга, потому что я Чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий, Александр Сумароков».

Свидетель следующей сцены, Павел Никитич Каверин, рассказал мне ее: «В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н. П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый возносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастию, не попало на его мнение. С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас; а завтра для праздника пришлю вам воз сена или куль муки».

* * *

Мнение одного государственного человека, а именно канцлера графа Румянцева, что в характере Наполеона отзывалось некоторое простодушие (*bonhomie*), было в свое время выдано за мнение несообразное и слишком простосердечное. Не поверяя оного характеристиками Наполеона, начертанными многими из приближенных его, которые посвятили нас в тайнство его частной жизни и разоблачили пред нами героя истории, являя просто человека, — можно, кажется, по одному нравственному соображению признать в некоторых отношениях истину приведенного заключения. В поре могущества нечего ему было лукавить; одним лукавством не совершил бы он геркулесовских подвигов, ознаменовавших грозное его поприще; тут нужны были страсти, а страсти откровенны.

* * *

Суворов был остер не одной оконечностью штыка, но и пера; натиск эпиграммы его был также сокрушителен. Он писал однажды об одном генерале: «Он человек честный, воображаю, что он хорошо знает свое ремесло, и потому надеюсь, что когда-нибудь да вспомнит, что есть конница в его армии».

* * *

О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства непромокаемого (*impermeable, water-proof*). Слезы ближних не пробивают их, а только скользят по ним.

Отчего это мало-помалу все крадутся в дверь из этой комнаты? Что за гостинная эмиграция? – «Верно N.N. начал там рассказывать анекдоты». Это напоминает мне одно острое слово покойника графа Апраксина, которого, впрочем, весь разговор был фейерверк острых слов.

Назвался к нему однажды обедать знакомый, теперь также покойник, но который при жизни слыл недаром неутомимым и утомительным повествователем. При большой медленности в производстве мыслей, отличался он еще и большею медленностью в произношении слов. «Я пришел просить у вас отпуска на 28 дней», – сказал Апраксин начальнику своему в день назначенного обеда. Что тебе вздумалось, отвечали ему: ты знаешь, теперь не время. «Не управлюсь прежде, – отвечал Апраксин, – у меня сегодня обедает такой-то».

* * *

Английский министр при дворе Екатерины сказал на ее похоронах: On enterre la Russie (Хоронят Россию).

Недвижима лежит, кем двигалась вселенна, сказал о ней же Петров в одной своей оде. В царствовании Екатерины так много было обаятельного, изумляющего и величественного, что восторженные выражения о ней натурально и как-то сами собою приходили на ум. Но зато эта восторженность наводила иногда поэтов и на смешные картины. Кажется, Шатров сказал в своем стихотворении на смерть Екатерины:

О ты, которую никто не мог измерить,
Теперь измерена саженью рук моих.

Написать бы картину: Шатров, на коленях пред гробницей императрицы, растягивает руки как землемер или сиделец в лавке бумажных и шерстяных товаров.

* * *

Главный порок в *Душеньке* есть однообразие. Нужно было оживить рассказ игривыми намеками и вставить два-три эпизода. Остроумные, т. е. сатирические или философические вымыслы дали бы целому содержанию более замысловатости и заманчивости. А теперь все наведено одной и той же краской. Строгая критика осудит также встречающееся иногда смешение греческой мифологии с русским народным баснословием, или сказкословием. Особенное достоинство поэмы заключается в легкости стихосложения, разумеется, относительно времени, в которое она была написана. Нигде нет изящности искусства; но зато часто встречается красота и прелесть небрежности. В этом он несколько сходится с Хемницером. Жаль также, что с шуток Богданович падает иногда в шутовство. Говоря беспристрастно, *Душенька* цветок свежий и красивый, но без запаха. Впрочем, и то сказать, что обоняние наше стало взыскательнее и причудливее, нежели было оно у наших отцов. Нелединский справедливо замечает, что известный стих *Душеньки*: «И только ты одна прекраснее портрета» – не совсем удовлетворителен: для полноты смысла нужно было сказать, что только она прекраснее *своего* портрета, а не вообще портрета.

* * *

Успех комедии *Мизантроп* – торжество малодушного и развратного века. Мольер хотел угодить современникам и одурачил честного человека; но зато с каким мастерством, искусством и живостью. Краски его не полиняли до нашего времени. Вообще о комедиях его можно

сказать, что он был в высшей степени портретный живописец. Лица его верны и живы, как в главных чертах, так и в малейших. О целых картинах его не всегда то же скажешь.

* * *

Шишков, в своем предуведомлении к Тассовым *Бдениям*, говорит: «Впрочем, сохранил ли я достоинство оных и умел ли погрузить в них ту высокоумную горячку, тот великолепный бред, какими преисполнен подлинник, о том не мне судить, но просвещенному читателю».

Унижение паче гордости, господин переводчик! Будьте покойны: и горячки, и бреда найдется у вас в достаточном количестве. Впрочем, известно, что эти *Бдения* подложны и только приписываются Тассу.

Державин, кажется, был чуток к одним современным и наличным вдохновениям. Поэтическая натура его не была восприимчива в отношении к минувшему. В стихах его Петру Великому нет ни одного слова, ни одного выражения, достойного героя и поэта. Некоторые из воспетых им современников были счастливее; но зато Державин был несчастнее. Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает хвалителя. Впрочем, не следует заключить из этого, что Державин только льстецом был, хотя и сказал, что *раб лишь только может льстить*. Он забыл или не чувствовал, что раб может молчать. «Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию», – говорил трагик, которого творения не имели успеха на сцене. «Верю, – отвечал ему собеседник его, – но знаю, что очень легко не писать трагедий». Также легко не писать и похвальных од.

Многие из второстепенных произведений Державина, если не по лирическому движению, живописи и яркости выражения, то, по крайней мере, по мыслям и чувствам, в них выраженным, должны оставаться в памяти читателей. Таковы, например, стихи: *К Храповицкому*, *К графу Валерьяну Зубову*, *К Скопихину*, *Ко второму соседу*, *Мужество* и некоторые другие стихотворения. Читая их, не скажешь, что Державин первый наш лирик, но признаешь в нем мыслящего поэта и поэта-философа.

Знавшим лично Оленина, который был необыкновенно малого роста и сухощав, нельзя без смеха прочесть стих Державина к нему:

Нам тесен всех других покрой.

Иногда стихи его могут соперничать со стихами Хвостова. Например из стихотворения *Звонка*:

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я, соседей с вереницей.

По смыслу и течению слов выходит, что он на дрожках соседей катался в лодке по берегу пеш верхом.

* * *

Баснописец Измаилов – подгулявший Крылов.

Критик Болтин был пасынок Кроткова, который из шалости и от долгов распустил слух о своей смерти и выехал из Петербурга в гробе в свою Симбирскую деревню. Молодой Болтин последовал за ним. Попечительный о воспитании его, отчим заставлял его петь в хорах, составленных из дворовых людей, и этим утешал себя на веселых и приятельских попойках. Природные склонности боролись в юноше с силой развратного примера и победили ее. Урывками от

пьяных бесед предавался он, наедине и втихомолку, *трезвому пьянству Муз*. Он перевел два тома французской энциклопедии, которая была тогда в большой славе. Наконец обстоятельства его приняли счастливый оборот. Он возвратился в Петербург и посвятил себя любимой своей науке – истории. Любопытно было бы иметь более биографических сведений об этом замечательном человеке.

* * *

О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем. О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. Например, *жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце* и т. д. За словом *добродетель* тянется непременно *свидетель*; за словом *блаженство* тянется *совершенство*. За слотом *ум* уже непременно вьется рой *дум* или несется *шум*. Даже и бедная *любовь*, которая так часто ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы ей под пару.

Все это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше рифмованное стихосложение. Да и слово *добродетель* сложилось неправильно: оно по-настоящему не что иное, как слово благодетель. А слово *доблесть* у нас как-то мало употребляется в обыкновенном слоге, да и оно рифмы не имеет. Иностранные слова брать заимобразно у соседей нехорошо; а впрочем, [неразб.] червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход голландские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и англичане.

Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы вздумали, что наш язык такой богач, что всего у него много и что новыми пособиями только обидишь его.

* * *

Прочтите в *Российском Театре* комедию Крылова *Проказники*, а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых опытах писателя, что из него выйдет впоследствии времени? Это не развитие, а совершенное перерождение. В *Проказниках* полное отсутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо холопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершенства, но в *Российском Театре* глядит он исполином. Комедий Фон-Визина нет в этом старом собрании наших драматических творений.

Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно делить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них участвующие, называются действующими лицами, когда они вовсе не действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к делу: просто говорящими, потому что и разговора мало. В наших комедиях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, которой отличаются даже второстепенные и третьесортные французские комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много тому содействует. Французские слова заряжены мыслью, или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка, или фейерверочный огонь.

* * *

Люблю ловить в Хераскове хорошие или, по крайней мере, дельные стихи. Например:

«Ты властен все творить», тебе вещает лесь;
«Ты раб Отечества», вещают долг и честь.

Жаль только, что они сказаны спящему Иоанну, который, проснувшись, едва ли помнил их. Входило ли в голову греческим грациям, Венере, Амуру, что Херасков переселит их в Казанские леса, чтобы играть сердцами смуглых татар и татарок? Наш поэт не заботится в картинах своих о местных красках. Но не будем упрекать его в этом слишком строго, вспомя, что и Мильтона, и Тасса укоряли в подобных недоразумениях и опечатках. Поэтам (но заметим, одним великим поэтам) дозволяется иногда самовосхваление; но надобно, чтобы благородство языка выкупало перед судьями то, что может быть смешным в самохвальстве. Гораций и Державин имели полное право воспеть в прекрасных стихах свою апофеозу. Восторг – открытый лист поэта; но нужно, чтобы этот восторг был бы звучною волной, прямо из свежего и полноводного родника. Но где восторг у Хераскова, когда он в *Россияде* заставлял пустычника Вассиана, упоминая о Трубецком, говорить Иоанну:

Сей род со временем с тем родом соединится,
От коего певец Казанских дел родится:
Увидеть свет ему судьбина повелит,
Где Польшу бурный Днепр с Россией делит.
Прости, коль он тебя достойно не прославит;
Любовь к Отечеству писать его заставит.

С какой стати Вассиану ходатайствовать перед Иоанном за *певца Казанских дел*, словно речь идет о Казанских делах Гражданской или Уголовной Палаты. В другом месте той же поэмы не менее прозаически говорит он о себе:

Вложите плач и стон в сказание мое,
Дабы Царице сей вещал я о судьбине,
Как бедства, страхи, брань умел вещать донине.

От браней ко любви я с лирой прилетал,
Недовершенный труд моим друзьям читал.
О, если истину друзья мои вещали,
Мои составлены их песни восхищали! и пр.

Мои составленные песни! То-то и беда, что песни в самом деле составлены, а вдохновение не входило в их состав.

Едва ли не главное действие Иоанна в *Россияде* заключается в том, что он *взглянул на щит*, данный ему неким старцем, которого он, впрочем, довольно неучтиво и вольнодумно от себя отправил, сказав ему:

Иное быть царем, иное жить в пустыне:
Не делай нам препятств и не кажись отныне.
хотя и признавал в нем мудрость, свыше дарованную, и говорил ему:
Но ты, премудростью исполненный небесной,
О старче, о делах предбудущих известный.

Безбожие – серпом луна видна среди чела его

– обещает Иоанну державы на Востоке с тем, чтобы он отказался от России и от христианства. Магометанская вера не есть безбожие.

Несмотря на нелепое предложение, Иоанн начинает колебаться и уже

Хотел главу склонить, но вдруг на щит взглянул:
Померкнул щит, и царь о старце вспомнил.

* * *

NN говорит, что главная беда литературы нашей заключается в том, что, за редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные мало грамотны. У одних недостаток в мыслях, у других недостаток в грамматике. У одних нет огнестрельных снарядов, чтобы сильно и впопад действовать своим оружием; у других и есть снаряды, но зато у них нет оружия. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть? У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно, хотя и не совсем правильно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но все это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге.

* * *

История о князе Якове Федоровиче Долгорукове. 2 части. Москва. 1807 – 1808 г. Сочинение Евдокима Тыртова.

Беспорядочная компиляция, начиненная натянутыми сравнениями и формулярным списком всех древних и новейших великих мужей. Все историческое почти целиком извлечено из Голикова. Например: тут напечатаны письма Петра к Долгорукову, *полученные* (как говорит Тыртов) *от неизвестной особы*. Ждешь нового и только заранее сетуешь, что историческая достоверность этих документов может быть поколеблена признанием, что они *доставлены от неизвестной особы*. Но успокойтесь. Далее издатель объявляет, что большая часть из оных уже издана Голиковым; следовательно, можно было бы только сослаться на книгу его; но, *зная обязанность за доставление, он* (т. е. Тыртов) *с чувствительностью и покорнейшей благодарностью исполняет желание почтенной особы*. Невольно спросишь: как знает он, что ему неизвестная особа есть почтенная особа?

Разговор Людовика XIV есть род экзамена, которому профессор прав подчиняет студента. Говоря об путешествиях Петра, сочинитель в порыве красноречия восклицает: «Какая прекрасная, патриотическая мысль готова прославить кисть наших *Рубенсонов!*» О ком идет здесь речь? О живописце Рубенсе, или о Робинсоне на необитаемом острове?

Далее, изобразив Петра в Сардаме, автор продолжает: «Я воображаю себе целую коллекцию таких картин и представляю при них того из китайцев». . . и пр. (в выноске Конфуция). Тут автор влагает в китайские уста русскую речь собственноручного изделия и заключает: «Так бы говорил беспристрастный китайский философ, и кто бы этого не сказал?» Стоило ли родиться и прослыть в далеком потомстве философом, чтобы говорить то, что и каждый сказал бы на его месте?

У нашего автора своя риторика и своя логика. Вот еще выписка: «Ревностная признательность наша к герою князю Я. Ф. Долгорукову не должна казаться неблагодарностью в рассуждении его славных дел». Охотникам до мудреных загадок здесь есть над чем поломать себе

голову. Известный анекдот о разодранном указе рассказывается здесь в нескольких вариантах. Сочинитель видел тетрадку, исписанную собственной рукой Долгорукова, и сличал ее с его собственноручными письмами к родным. Как же не печатал он этой рукописи? И где она теперь находится? В конце второй части помещено несколько писем Екатерины II к Долгорукову-Крымскому. В одном из них сказано о курьере, присланном из армии князем: «И как его неприятельская батарея привела в конфузию по вашей реляции, то ему дан крест». Но это может быть и опечатка вместо *контузии*.

Евдоким Тыртов еще известен в книжном мире анекдотами Павла I и похвальным словом Шереметеву. Его История Долгорукова перепечатана была вторым изданием. Есть еще начертание жизни Долгорукова, написанное Бороздиным.

* * *

Картина жизни и военных деяний Российско-императорского генералиссимуса князя Александра Даниловича Меншикова, фаворита Петра Первого. 3 части. 1803 г. Есть и другое издание в IV частях, 1809 г.

Так же, как и предыдущая книга, историческая всякая всячина, историческая окрошка. Нет критического взгляда, нет разумной и нравственной оценки личности и событий. Но книга, в отличие от первой, составлена с некоторым порядком и писана слогом более сносным. Меншиков – русский Мазарини: голова государственная, а дух корыстолюбивый и жадный власти до безграничности. Как королева Анна Австрийская благоволила к одному, так Екатерина I – к другому. В обоих замашка сочетать свою кровь с царской кровью.

Петра нельзя слишком укорять в слабости к любимцу своему, хотя он часто употреблял во зло царское доверие и запятнал себя многими чертами личной корысти и незаконными поступками. Петр не утаивал от суда преступлений любимца своего, что мог бы он, при самодержавии своем, легко исполнить; но после он миловал его, а впрочем, и заставлял часто расплачиваться и вознаграждать ущербы, от него понесенные казной и частными лицами, Петру I для его геркулесовских подвигов нужны были богатырские подмастерья, государственные подгеркулесы. В этом отношении он дорожил Меншиковым и жертвовал иногда государственной нравственностью в пользу того же государства. К тому же он знал, что, где нужно, дубинка его распрямит в свое время кривизны и безнравственности предосудительных действий.

Меншиков не был при Петре, как было при других дворах и в другие царствования, любимцем по личной державной прихоти. Нет, Меншиков был в полном смысле сподвижником Петра во всех его предприятиях, и держал он его ввиду предприятий будущих. Закон, осуждая Меншикова, делал свое дело: Петр, прощая его, пользовался своим правом помилования.

* * *

Обрученные, роман Александра Манзони, 5 томов.

Трудно найти роман полнее этого по твердости создания и по богатству содержания.

Основание романа самое простое, а именно свадьба в XVII веке двух обрученных жителей бедной итальянской деревни, а свадьба все далее и далее отсрочивается силою разных препятствий. И какие же это препятствия? Замечательнейшие исторические события, которые сталкиваются с этой свадьбой или к которым, господствующей силой обстоятельств, прибавляется беспрерывно эта свадьба. И все это без всякого насильственного напряжения со стороны романиста. Автора, выдумщика нигде не видно: все делается будто само собой; так и кажется, что оно иначе совершаться не могло.

Тут развивается со всеми последствиями своими живая картина безначальства, господствовавшего в Италии во времена самого деспотического, чуждого владычества испанцев: картина утеснений, чинимых помещиками, из коих многие безнаказанно и гласно предводительствовали шайками разбойников, так называемых *брави*, всегда готовых, по движению руки, по слову патрона своего, на всякое злодейство; картина голода, постигшего Миланскую область, и чумы, которая вскоре за ним последовала. Приключения крестьянки Лучии и крестьянина Лоренцио протекают среди сих величественных и ужасных явлений, но вовсе не поглощаются ими. Внимание читателя, сильно и тревожно возбужденное глубокими впечатлениями от исторических событий, пред ним совершающихся, ни на минуту не теряет из вида обрученников и не остывает в участии, которое принимает в судьбе этих двух смиренных личностей. Казалось бы, как не затеряться им в этом бурном потоке? Нет, они везде выплывают и сохраняют подобающее им место в этом обширном повествовании. Искусство автора в соглашении этих трудностей превосходно.

По справедливому замечанию французского критика, «Вальтер Скотт сквозь историю пробивается к роману, Манзони сквозь роман пробивается к истории». Итальянский романист не имеет порыва, драматических движений шотландского. Для итальянца он, так сказать, мало имеет мимики, мало игры движений. В нем ничего нет актерского. Он более хладнокровный повествователь, но зато повествование его плавно, светло и живо. Везде чувствуешь какую-то глубину и непобедимую силу. Драматических выходов, которые одной чертой изображают вам действующее лицо, от него не ждите; но зато каждая черта, каждая строка дополняют изображение.

Как коротко, как близко, хотя и не скоро, познакомишься с Лучией, с Лоренцио, с монахом Христофором, с пастором Аббондиа, с Агнезою, с Дон-Родригом и его кровожадными сателлитами, с Ненареченным (Innominato), с великодушным и человеколюбивым кардиналом Боромео. Все эти лица врезаются в память и сердце читателя. Это не мимоходное, не шапочное знакомство, а знакомство навсегда. Как хорош этот добряк, простодушный Лоренцио! Он вдруг нечаянно падает как с неба в возмущение Миланское, возбужденное голодом; он силой обстоятельств, так сказать, физических, теснимый и увлекаемый толпой, выбивается невольно на вид и едва не в предводители возмущения, которое ему совершенно чуждо. И впоследствии правительство недаром признает в нем одного из главных зачинщиков бунта. И простак Лоренцио, не думав, не гадав о том, принужден сделаться политическим беглецом, о котором державы входят в переговоры между собой.

И все это как верно, как натурально! Нигде не видать следов авторской иглы, которая часто сшивает события, как пестрые лоскутья на живую нитку. Романисты обыкновенно надеются, что читатель, обольщенный прелестью рассказа, не заметит искусственной работы. Нет, у Манзони везде видна твердая и никогда даром недвигающаяся рука судьбы. Оно так, потому что должно быть так, а не иначе.

А описание чумы! Читая его, воображение так поддается рассказу, что минутами хочешь бросить книгу от страха самому заразиться, а минутами живым и горячим участием так сближаешься с бедными жертвами, что едва ли не жалеешь о том, что не можешь идти в лазарет, набитый 16 000 больных, чтобы помогать неутомимому *Фра Христофору* и разделять с ним заботы его о больных.

Одно, кажется, несколько противоречит истине, а именно – слишком скорое обращение на путь благочестия страшного Ненареченного, из которого перед русским читателем выглядывает иногда, хотя и не в чертах столь крупно обозначенных, рязанский помещик Измайлов, страх соседей и уездных властей, известный в свое время самоуправством и бесчинствами всякого рода. Но зато как умилительно это обращение, и что за человек этот Боромео: образец христианской добродетели, не идеальной, не мистической, а самой практической и вместе с тем самой возвышенной.

* * *

Красный Корсар, роман американца Купера.

Купер – романист пустынь, влажной и сухой. (В другом романе описывает он американскую степь.) Романы его и отзываются немного однообразием пустыни; но зато есть что-то беспредельное и свежее. Никто, кажется, сильнее и вернее его не был одарен чутьем пустыни и моря. Он тут дома и переносит читателя в стихию свою.

Вальтер Скотт вводит вас в шум и бой страстей, человеческих побуждений; Купер приводит вас смотреть на те же страсти, на того же человека, но вне очерка, обведенного вокруг нас общежитием, городами, условиями их и т. д. С ним как-то просторнее, атмосфера его свободнее, очищеннее и прозрачнее. Малейшее впечатление, которое в сфере Вальтера Скотта ускользнуло бы, здесь действует сильнее и раздражительнее. Чувство читателя изощрается от стихии, куда автор нас переносит. Мы видим далее и глубже. В Купере более эпического, в Вальтере Скотте более драматического, хотя в том и в другом эти оттенки иногда сливаются.

Кажется, степной роман Купера лучше «Корсара», особенно же конец его как-то тянется и стынет. В характере «Корсара» нет ничего человечески-преступного, а потому и ужас, который имя его вселяет, и наказание, которое ему готовится, мало возбуждают наше нравственное сочувствие. Это дело морской полиции, и только. Но зато море – какое раздолье и какая прелесть у Купера! Так и купаешься в этом море. Корабль, все морские принадлежности, вся адмиралтейская часть изображены в живописном совершенстве. Петр I осыпал бы Купера золотом и пожаловал бы его в адмиралы: он так и вербует морю.

В романах Вальтера Скотта в толпе людей не всегда успеешь разглядеть человека; мимо иных действующих лиц проходишь иногда без внимания: оно все обращено на лица, особенно выдающиеся вперед, и на вышины, как обыкновенно водится и в житейском быту. На пустом и обширном горизонте Купера всякое существо рисуется отдельно и цело, все видимое возбуждает внимание, и следишь за ним, пока не скроется оно совершенно из глаз. Общежительный человек скажет: должно жить в мире Вальтера Скотта и заглядывать в мир Купера. Нелюдим (не то что человеконенавистник; нелюдим может и не иметь ненависти к человечеству, а у нас неправильно то и другое слово принимаются в значении мизантропа), нелюдим скажет: должно жить (т. е. любо жить) в мире Купера, а можно для развлечения заглядывать и в мир Вальтера Скотта.

* * *

Записки Генриха де Ломени, графа Бриенского, государственного секретаря в царствование Людовика XVI.

В этих записках менее всего и менее всех на виду выказывается писавший оные. Он не имеет болтливости себялюбия, свойственного составителям записок и автобиографий. С высоты почестей, успехов и силы при дворе и в обществе сей любимец счастья кончает жизнь в темнице св. Лазаря после 10-летнего заточения; и в записках его ничто не разъясняет причин крутого поворота в судьбе его.

Впрочем, записки занимательны живостью рассказа. Но нигде в рассказе не обозначается глубокости ума в наблюдениях; не видно в нем и государственного человека.

Много любопытного о Мазарини: кончина кардинала, драматическая сцена, яркими и живыми красками раскрашенная. Недогадливый министр волочил за знаменитой девицей Лавальер, не примечая, что имел он при ней соперником Людовика XVI. Когда догадался, он пошел с объяснениями к королю, разнежился и расплакался, т. е. просто струсил. Людовик принял слезы за выражение сильной любви и, разумеется, еще более разгневался. Но автор

утверждает, что он расплакался только потому, что у него есть природная влажность в глазах и в мозгу (J'ai les yeux et le cerveau fort humides).

К этим запискам приложено введение от издателя Барриера: опыт о нравах и обычаях XVII в. – любопытная смесь всякого рода безобразий и бесчинств хваленого, но, впрочем, во многих отношениях славного века. Вот несколько извлечений из этого введения.

Во время осады Турина графом д'Аркурром город страдал от голода. Испанцы всячески старались, но напрасно, пробиться сквозь французские линии, чтобы подать помощь осажденным. По распоряжению главного начальника, испанцы стали начинять бомбы мукой и пускали их в город через французский стан. Между прочими бомбами нашли одну с жирными перепелками и запиской, которую испанский офицер отправил любовнице своей в Турин. Вот замысловатый и новый способ любовной почтовой переписки.

Граф Вилла-Медина, в Мадриде, был влюблен в Елисавету, французскую принцессу, замужем за Филиппом IV. Желая видеть ее в своем доме, он устроил великолепный праздник, на который был приглашен и двор. Вместе с праздником устроил он и пожар. Во время пышного зрелища, которое поглощало общее внимание зрителей, дом загорается. В одну минуту все объято пламенем, все богатства, украшения, картины и т. д. Улучив время, когда каждый бежал, угрожаемый опасностью, Медина, следящий за каждым движением королевы, выхватывает ее из толпы в свои объятия и уносит сквозь пламень, покупая таким образом и ценой фортуны своей счастье прижать на минуту королеву к своей груди.

Когда назначали маршалу д'Юксель голубую ленту, он говорил, что отказывается от сей блестящей почести, если она должна лишить его права ходить в кабак.

Дюк де ла Ферте, под начальством маршала Катина, воевал в Савое. Войска принуждены были довольствоваться скверным туземным вином. Несмотря на то, дюк де ла Ферте потреблял его всегда через меру. Спросили его однажды, как может он пить такое вино и особенно же в таком количестве? «Что же делать, – отвечал он, – надобно уметь любить друзей своих и с их погрешностями». Это напоминает, что однажды Американец Толстой писал из Тамбова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным ромом».

* * *

О многих прозаических и стихотворных панегириках можно сказать, что они или лопнут, или задушат своего героя. «Это божественно!» – «Что вы говорите? Мало того, это...» Кто-то прервал начатую похвалу и, разумеется, запнулся, потому что не мог подняться выше. Наши лирики с первого порыва жалуют героя своего в божество, а там, в продолжении, должны поневоле мало-помалу разжаловать его, и тем кончится, как сказано поэтом:

La masque tombe, l'homme reste,
Et le heros s'evanouit, –

два известные стиха Ж. Б. Руссо, худо переведенные и Ломоносовым, и Сумароковым в оде *На Счастье*. Ломоносов говорит: «Геройска похвала увянет, И смертный будет всем открыт». Сумароков: «Все геройство увядает, остается человек».

* * *

Напрасно говорит Шлегель: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прудона только тем, что умеет правильно писать, то жестоко был он к себе несправедлив».

Шлегель забывает, что Расин француз и что выразил суждение свое он во Франции. У французов в творениях ума слог первая необходимость. В противоположной крайности, у нем-

цев, слог последнее условие, на которое немногие обращают внимание. Головоломное понимание авторов не пугает немецкого читателя. А Вольтер сказал в своем опыте о различных вкусах народов: «Французы имеют за себя ясность, точность, изящество (elegance)». Баратынский говорит, что для немца мало, «если при чтении книги отзовется она у него в голове, а надобно, чтобы и в спине отозвалась она, т. е. чтобы читатель с трудом поработал над нею». В искусствах нельзя не ценить отделки, а немцы все покупают на вес, потому и суждения Шлегеля о французском театре отчасти неверны и несправедливы. Он также судит о нем не как знаток, а как заимодавец под вещи, т. е. по внутренней их ценности. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда нельзя присваивать себе право решать о ней судебским приговором.

Если не признавать цены отделки, то как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем и говорить нечего: оно перешло к нам по школьным преданиям. Прозой переводить Анакреона невозможно, переводить его стихами также невозможно. В первом случае вы сушите цветок, который прельстил вас своими красками, блеском и свежестью; в другом хотите вы перенести карандашом на бумагу эту свежесть, этот блеск, эти краски. А Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё. Дело в том, что поэта переживают его мысли и чувства; но красота и прелесть оболочки их верно оцениваются одними современниками.

* * *

У нас жалуются и жалуются по справедливости на водворение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения?

Как, например, выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова *naïf* и *serieux*, *un esprit serieux*? Чистосердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный*, *серьезный*. Последнее слово вошло в общее употребление.

Нельзя терять из виду, что западные языки – наследники древних языков и литератур, которые достигли высшей степени образованности и должны были усвоить себе все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему ни литературы, которой они не имели, ни преданий утонченного общежития, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения.

* * *

Некоторые выдержки из Сумарокова доказывают, что у него вырывались иногда стихи правильные и полные смысла. Лучшие стихи его – сатирические. Трагедии его перечитывать нельзя, а между тем они в свое время нравились людям образованным и знакомым с иностранными литературами. Князь Николай Борисович Юсупов, воспитывавшийся в Туринском университете, восхищавшийся трагедиями товарища своего по Туринскому университету Альфиери, не менее того остается верен Сумарокову и признает в нем великого трагика, хотя и соглашается, что язык его устарел. «Вот бы Пушкину (сказал он однажды) несколько поправить и подновить язык трагедий Сумарокова. И тогда можно бы снова представить их на театре».

* * *

Генерал Александр Ламет (Lameth), товарищ Лафаэта и одно из главных действующих лиц в событиях первой Французской революции, рассказывает в записках своих следующее:

«У сестры Мирабо назначено было свидание между первенствующими лицами Народного Собрания для переговоров о соглашении и примирении умов, ввиду предстоящих обстоятельств. Мирабо рассказал тут все, что происходило при избрании его в Провансе в число депутатов. В рассказе своем ничего не утаил он из мер, принятых им для достижения успеха; даже признался он, что, имея в руках своих народного оратора, который казался ему преданным, но в котором однако же не мог он быть совершенно уверен, он приставил к нему соглашателя, который не должен был отходить от него и заколоть его, если как-нибудь изменил бы он своим обязательствам.

Мы все ужаснулись подобному признанию, а Мирабо удивился нашему ужасу. «Как, и тот убил бы его?» – спросили мы.

«Да убил бы, как убивают», – хладнокровно отвечал Мирабо.

«Но это было бы ужасное злодейство».

«О, в революциях, – возразил он изречением, которое после того сделалось столь известным, – «La petite morale tue la grande (мелкая нравственность убивает большую)».

* * *

Мирабо, прозванный Мирабо-бочка, был человек очень нетрезвый. Старший брат делал ему однажды упреки за эту слабость. «Помилуйте, на что вы жалуетесь? – отвечал он смеясь. – Из всех возможных пороков, которые семейство наше присвоило себе, один этот оставили вы на долю мою».

* * *

Han d'Islande («Исландец Ган»), роман Виктора Гюго – род Мельмота, но менее истины и глубины в создании. В прозе те же пороки, что и в поэзии его, т. е. излишняя высокопарность, надутость и желание автора, во что бы то ни стало, поразить читателя чем-нибудь удивительным и неожиданным. Но иногда те же и красоты. Часто бред горячки, но иногда проявляется, что этой горячкой одержим поэт, а не дюжинный больной. Есть в романе явления сильные, живописные, лица твердые и хорошо обозначенные, например палача, сторожа трупов и дочери одного из действующих лиц. Есть и политический интерес: бунт рудокопов, их военный поход, встреча с королевским войском; все это живо и верно. Тут упоминается и о русском палаче.

По поводу этого романа князь Меншиков называл известную посылку своей на Кавказ для правительственных преобразований Гана: Han se Courlande.

* * *

В. Л. Пушкин сказал сегодня стихи на новый год какого-то старинного поэта, помнится, Политковского.

Не прав ты, новый год, в раздаче благостыни;
Ты своенравнее и счастья богини.
Иным ты дал чины,

Другим места богаты,
А мне лишь новые заплаты
На старые мои штаны.

Кажется, эти стихи никогда не были напечатаны.

У нас довольно много подобной ходячей литературы: хорошо бы выбрать лучшие из нее стихотворения и напечатать их отдельной книжкой. В ней сохранились бы и некоторые черты прежней общественной жизни. До 1812 года, была большая рукопись in-folio, принадлежавшая Храповицкому, статс-секретарю императрицы Екатерины. Это было собрание всех возможных стихотворений, написанных в течение многих десятков лет и не вошедших в печать по тем или другим причинам. Разумеется, главный характер этих стихотворений был сатирический, отчасти политический и отчасти далеко не целомудренный. Эта книга затерялась или сгорела в московском пожаре. Тут, между прочим, были стихотворения Карина и за подписью какого-то Панцербитора. Вымышленное это имя или настоящее, не знаю; но в печати оно, кажется, неизвестно.

Много еще неизвестного и темного остается в литературе нашей.

К подобной ходячей литературе можно приписать и следующее четверостишие, которое князь Александр Николаевич Салтыков, вовсе не поэт, отпустил на Козодавлева, тогдашнего министра внутренних дел:

Министр наш славой бы гремел,
И с Кольбертом его потомство бы сравнило,
Из внутренних когда бы дел
Наружу ничего у нас не выходило.

Примите, древние дубравы,
Под сень свою питомца Муз!
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости Цитерских уз:
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Седящу на холмах высоких,
И в спящи веки воззову.

В этих стихах Дмитриева есть движение, звучность, живопись и величавость; но если всмотреться в них прозаическими глазами критики, то найдешь в них некоторые несообразности. Начать с того, что тут излишне сжаты топографические подробности. Тут и дубравы, и широкие поля, и холмы высокие, и город. Картины поэта должны быть так написаны, чтобы живописец мог кистью своей перенести их на холстину. А в настоящем случае трудно было бы ему соблюсти законы перспективы. Далее: нельзя войти одним разом в дубравы, можно войти в дубраву; в дубраве нельзя искать широких полей и с них смотреть на город, хотя и сидит он на высоких холмах. Дубрава заслоняет собой всякую даль, и видишь пред собой одни деревья. Положим, что под древней дубравой (а все-таки не дубравами) поэт подразумевал рощу, посвященную Музам: все же остается та же сбивчивость в картине.

Другие стихи из того же стихотворения Дмитриева подали повод к забавному недоразумению. В первой книжке *ѣна Отечества* была напечатана передовая статья с эпиграфом, взятым из *Освобождения Москвы*:

Где ты, Славянов храбрых сила?

Проснись, восстань, Российская мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осенняя ночь.

И, разумеется, под эпиграфом выставлено было имя автора. В то время Дмитриев был министром юстиции, а граф Разумовский министром народного просвещения. Он был человек европейской образованности, но мало сведущ в русской литературе. Он принял это четверостишие за новое произведение, написанное Дмитриевым *по случаю* занятия Москвы Наполеоном. При первой встрече с Дмитриевым в Комитете Министров, обратился он к нему с похвалами и с сожалением, что новое прекрасное стихотворение его так коротко. Дмитриев сначала понять не мог, о чем идет речь и по щекотливости своей оскорбился предположением, что он, в своем министерском звании и при современных важных и печальных событиях, мог еще заниматься стихотворством.

Около того же времени Шишков читал в Комитете Министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев, с авторским своим тактом, не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится Богу. Не желая однако же прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи или официальным объявлением от правительства. «У нас нет правительства», с запальчивостью возразил ему простодушный государственный секретарь.

* * *

Ломоносов два раза в одах своих говорит о *багряной руке зари*. Первый раз в оде шестой:

И ее уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.
Другой раз в оде девятой:
Заря багряною рукою,
От утренних спокойных вод,
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

Ломоносова заря хороша, хотя русская заря не имеет нежности и прелести греческой Авроры с розовыми пальцами. В оде десятой:

Когда заря багряным оком
Румянцем умножает роз.

Багряное око – никуда не годится. Оно, вовсе непоэтически, означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача.

У Ломоносова в одах много найдется намеков и подробностей исторических, географических, и политических, и относящихся до науки. В нем виден более академик, нежели поэт. Но и поэт нередко прорывается в стихах твердых, и звучных, и живописных. Вот пример политической или газетной поэзии, из оды пятнадцатой:

Парящий слыша шум орлицы,
Где пышный дух твой, Фридерик?
Прогнанный за свои границы,

Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок Саксонов,
Всеобщим дателем законов
Сльвешь в желании своем! и пр.
Или ода семнадцатая:
Голстиния, возвеселися,
Что от тебя цветет наш крин.
Ты к морю в празднестве стремися,
Цветущий славою Цвейтин.
Хотя не *силен ты водою*,
Но радостью сравнись с Невою, и пр.
Вот вам и география, и вот еще она же:
Российского пространство света
Собрав на малы чертежи,
И грады оною спасенны,
И села ею же блаженны,
География покажи. (Ода десятая.)

Как хороши и поныне, и как поэтически верны, следующие два стиха из оды десятой:

В середине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день.

Выражения *жаждущее лето* и *протяжный день* так и переносят читателя в знойный июльский день.

Ломоносова, как вообще и всякого поэта не нашего времени, нельзя читать с требованиями и условиями нам современными. Ломоносов писал торжественные оды потому, что в его время все более или менее писали стихи на торжественные случаи. Нельзя ставить ему в вину некоторые приемы, как нельзя смеяться над ним, что он ходил не во фраке, не в панталонах, а во французском кафтане, коротких штанах, с напудренной головой и с кошельком на затылке.

Он всегда с особенным одушевлением говорит о Елизавете. Называя ее Елизавет, он как будто угадал выражение принца Делиня, который сказал: Екатерина Великий. Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданнического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное поэтическое чувство.

Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой,
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой. (Ода 2-я.)

Тебя, богиня, возвышают
Души и тела красоты;
Что в многих, разделясь, блистают
Едина все имеешь ты. (Ода 9-я.)

Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Когда чрез трубный глас из нор!

Ей ветры вслед не успевают.
Коню бежать не воспрящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь. (Ода 10-я.)

В последнем стихе есть в самом деле какое-то страстное одушевление.
В одной из своих од он говорит об Елисавете:

Небесного очами света
На сродное им небо зрит.

В другой:

Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,
Где видим кроткую весну,
В лице, в очах, в устах и нраве!

Вот строфа, согретая чувством гражданства:

Священны да хранят уставы
И правду на суде судьи;
И время твоея державы
Да ублажат рабы твои.
Соседи да блюдут союзы... и пр. (Ода 9-я.)

Услышьте судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы,
И подданных не призирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу:
То Бог благословит ваш дом.

Это строфа из оды на день восшествия на престол Екатерины II. Здесь как будто уже слышится Державин.

У Ломоносова встречаются странные выражения и понятия; например он заставляет Ветхого Днями говорить:

Я в гневе Россам был творец,

Но ныне паки им отец.

Вообще кажется, по крайней мере, неприличным подсказывать Божеству, если не баснословному, свои собственные мысли и слова. А нередко поэты грешат этой неприличностью.

И Марс вложи свой *шумный меч*.

Прилагательное шумный вовсе не идет к мечу.

И *полк всех нежностей* теснится.
Полк и нежности также не ладят между собой.
Пучина преклонила волны.

Странно, но вместе с тем смело и поэтически.

О Боже крепкий, Вседержитель,
Пределов Росских *расширитель*.

Это также странно и смело, но уже вовсе не поэтически и неблагоприлично.
Далее говорит он:

Как ныне Россию *расширил*,

а после:

Возри, коль широка Россия –
От всех полей и рек широких.
Взывая к Богу, поэт говорит:
По имени Петровой дочери,
Военны запечатай двери.

Здесь отзывается какое-то полицейское действие.

Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь.

Когда пучину не смущает
Стремление насильных бурь,
В *зерцале жидком* представляет
Небесной ясности лазурь.

Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:

Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предьявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя,

И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.

Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:

О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.

Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.

Разумеется, что, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.

В письме своем о правилах российского стихотворения Ломоносов говорит:

«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипиче Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».

Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными.

В статье *Жизнь Ломоносова*, которая напечатана в Полном Собрании сочинений его, изданном изданием Императорской Академии Наук, в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую Грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую Историю, простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть *анекдоты*, а труды повсюду известные». Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А. П. Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.

Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады.

«Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – Вспомните, что вы снова сделали русскими!»

Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его¹.

Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что, так или иначе, имя его навсегда нераздельно сопряжено с событием изгнания неприятелей из России и, следовательно, ее освобождения и спасения.

Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один *генерал Мороз* уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишний, но Кутузов немало способствовал его заморозению.

* * *

Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Le Pelletier, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (pelletier по-французски скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: *Vieux routier, ta routine m'a deroute* (твоя толковость сбила меня с толку).

Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 г. около Гжатска был пойман крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «*Не знаю*» было единственным ответом его, несмотря ни на угрозы, ни на побои, ни на обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 г. Эта твердость, это упорство сильно поразили Наполеона и окружающих его. Но Наполеон не хотел показать неприятное впечатление и разбил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.

* * *

Наполеон говорил князю Понятовскому в 1811 году: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».

Князь Понятовский, возвратившись в Польшу, пересказывал эти слова многим из своих соотечественников и, между прочими, Грабовскому, который записал их в своей памятной книжке.

Плятер, передавая это, сказал, что судьба иногда каким-то непостижимым образом предрекает определения свои нашими устами. И в самом деле, не поразительно ли нескромное и как будто невольное признание Наполеона в такое время, когда он готовился на войну 1812 г. и подымал на дыбы Польшу силой несбыточных надежд, и поднял ее, и вместе с ней того же самого князя Понятовского.

Князь Понятовский позднее других своих соотечественников поддался обольщению Наполеона. В 1806 г. выезжал он к нему на встречу с прусским орденом на мундире, что было

¹ Известно, что Император Александр не очень благоволил к Кутузову: назначив его в 1812 г. главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Бенигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом.

неприятно Наполеону и другим полякам, которые телом и душой уже поработились обаянию счастливого завоевателя.

* * *

Крестьяне графа Мостовского, министра внутренних дел в Польше, говорят о его сельском хозяйстве: «Мы сеем траву, а покупаем хлеб».

* * *

Свечина, в проезд свой через Варшаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрит на представление *Лодоиски* (известной в то время оперы польского содержания). Все ей казалось, даже и бытие народа, чем-то обманчивым, условленным и театральным.

* * *

Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.

* * *

В разговоре о Польше и о способах управлять поляками NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но, вместе с тем, слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал возратить им политическую независимость, а только в лстивых словах обольщал их легковерный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.

Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и благодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разрубить на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.

* * *

Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя».

* * *

У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.

«Они очень невежливы (говорил он) и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание».

Они отвечали мне: «Зачем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?»

«Что же (перебил его Пушкин), начинало уже рассветать?»

«Да, немножко», – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.

* * *

Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодovито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву Императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.

Его же спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – а еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».

* * *

NN сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «Он говорит пословицами, а действует виньетками».

Кстати о виньетках. Блудов сказал о новом собрании басен Крылова, что вышли новые басни Крылова, с свиньей и с виньетками.

«Свинья на барской двор когда-то затесалась» и пр. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Какой-то французский критик, в таком же направлении, осуждал Крылова за то, что он выбрал гребень предметом содержания одной из своих басен, вероятно, на том основании, что есть французская поговорка: грязен как гребень (*sale comme un reigne*).

Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не Загоскина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «В этой комедии более табаку, нежели соли».

Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отзывался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее».

* * *

Козодавлев, будучи министром внутренних дел, очень заботился о развитии русской промышленности и о замене иностранных произведений своими домашними.

В газете *Северная Почта*, издаваемой при министерстве и при личном наблюдении и участии самого министра, часто и много толковали о кунжутном масле. Когда Козодавлев умер, NN спрашивал: «Правда ли, что его соборовали кунжутным маслом?»

* * *

Великий князь Константин Павлович всегда отличал графиню Розалию Ржевусскую, по красоте и по уму очень достойную его внимания. Цесаревич любил шутить над ее клерикальностью и часто обращался к ней с священными текстами. Однажды на бале она указала великому князю на одну даму, называя ее красавицей. «Вот что значит христианское смирение, – отвечал он ей. – Вы видите сучок в глазу у ближнего, а в своем бревна не замечаете».

* * *

Князь Юсупов (старик Николай Борисович) трунил над графом Аркадием Марковым по поводу старости его. Тот отвечал ему, что они одних лет.

«Помилуй, – продолжал князь, – ты был уже на службе, а я находился еще в школе».

«Да чем же я виноват, – возразил Марков, – что родители твои так поздно начали тебя грамоте учить».

* * *

У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», – отвечал он.

* * *

Дидеро витийствовал и гремел в кабинете императрицы Екатерины против льстецов, отсылая их прямо в ад. Екатерина переменяла разговор. Спустя несколько времени спрашивает она у него: «Что говорят в Париже о последнем политическом перевороте, происходившем в России?» Дидеро запинаясь, отделяется общими выражениями, упоминает о случайностях государственной необходимости и т. д. Екатерина, улыбаясь, говорит ему: «Берегитесь, господин Дидеро: если не прямо в ад, то по крайней мере идете вы в чистилище».

Екатерина долго и с жаром говорила о достоинствах Сюлли и о счастье государя, который имел подобного министра. «Найдись другой Генрих, сыщется другой Сюлли», – будто сказал Панин. (Но это невероятно, и ответ только приписан был Панину; во всяком случае не графу Никите, а графу Петру Ивановичу Панину. Вообще нужно с большой осторожностью доверять этим историческим изречениям, появляющимся задним числом.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.